

Wiera Bielousowa

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
UWM w Olsztynie

НЕКОТОРЫЕ ЗАГАДКИ МЁРТВЫХ ДУШ

Key words: interpretation, *Martwe dusze*, hermeneutic analysis, Gogol, hidden sense

Вы сочиняете посмертного Гоголя ...
Гоголь не писал просто, а разыгрывал
самого [себя].

В. Ключевский

В последние десятилетия мысль о том, что Н. Гоголь – явление мировой литературы, стала почти аксиоматичной. „В настоящее время поток зарубежных гоголевских студий набирает силу с каждым годом. Его составляют поэтологическое направление, изучение религиозных основ гоголевского творчества, биографические исследования. ...”¹. Но при этом общим местом гоголеведения остаётся мысль о загадочности творчества Гоголя; его „фигура фикции”², лежащая в основании образа, даёт повод для самых разнообразных интерпретаций. При всем многообразии и разносторонности подходов к прочтению смыслов гоголевских произведений, остаётся в тени игровая сторона творчества Гоголя, его роль фокусника и фигляра, владеющего даром проникновения в мир окружающих его людей, даром пародирования и окарикатуривания. То есть остаются недостаточно увиденными не дальние (религиозные, мифологические, архетипические), а близкие к конкретно-исторической действительности смыслы, люди, факты, намёки на которые можно использовать в качестве интерпретанты гоголевских фикций. Представляется, что одной из интерпретаций художественного смысла *Мёртвых душ* может служить аллюзия на образ философа П. Чаадаева. Предпосылками подобной герменевтической аналитики служит, во-первых, душевная организация писателя, который „... не открывал себя в своём творчестве, он прикрывал себя”³, любил „сладость тайны”, „водить за нос”.

¹ *Гоголь как явление мировой культуры*. Международная научная конференция. Известия А. Н. Серия литературы и языка 2003, т. 62, № 2, с. 75.

² А. Белый, *Непонятый Гоголь*, в: „Вопросы философии” 1990, № 11, с. 96.

³ Н. А. Бердяев, *О русской философии. Сочинения в 2 частях*, ч. 1, Свердловск 1991, с. 38.

На правомерность подобной интерпретации наталкивает и психологическое родство – полярность этих личностей, одинаковые высочайшие социальные амбиции, их неприязнь друг к другу, отмечаемая многими современниками, наконец, общая половая тайна.⁴

Во-вторых, „фигура умолчания” по поводу Петра Чаадаева, обнаруживаемая в творческом наследии писателя, представляется явлением довольно странным и необычным, если учесть, что идеи Чаадаева, само экзистенциальное присутствие философа в общественно-литературной жизни своего времени играло скрыто доминирующую роль в русской культуре 30-40 годов, чего не мог не понимать Гоголь. Даже в письме к Н. Языкову (одному из самых близких друзей), где речь идёт о стихотворении поэта *К Чаадаеву*, Гоголь ни разу не вспоминает имени философа. Создаётся впечатление, что Гоголь наложил табу на это имя. К тому же, „следы” образа Чаадаева, внутренний скрытый диалог с ним прослеживается в повести *Вий*,⁵ в *Театральном разъезде*.

Пытаясь осмыслить „молчание” Гоголя, выдвигаем следующую гипотезу: образ Чаадаева вошёл в сложную метафорическую систему писателя, создав в многоплановом гоголевском тексте подводные смысловые пласты диалогического характера, где образ Чаадаева, употребляя выражение самого Гоголя, показан „в разжалованном виде из генералов в солдаты”⁶.

Общеизвестно, что гоголевская поэма имела большое количество прототипов, на отдельные из которых указывал сам автор. Так, история воспитания Андрея Тентетникова содержит описание его воспитателя, прототипом которого сам Гоголь называет своего нежинского учителя Николая Белоусова. В самом же образе Тентетникова явно присутствуют намёки на автобиографические факты: непомерное честолюбие, подчеркнутое писателем, тяга к знаниям, страстное желание государственной службы, наконец, обдумывание большого сочинения о России, характеристика которого почти дословно повторяет задачу собственного романа, излагаемую им в различных

⁴ Навряд ли можно согласится с Розановым, обвинившим писателя в некрофилии: «... половая тайна Гоголя находится где-то тут, в „прекрасном упокойном мире,...”» (В. Розанов, *Сочинения*, Ленинград 1990, с. 318). Можно возразить или согласится с С. Карлинским, который подозревает Гоголя в гомосексуализме. (С. Karlinsky, *The Surreal Labyrinth of Nikolay Gogol*, Cambridge Univ. Press 1976). Неоспоримым остаётся одно – наличие некоей половой тайны и у писателя, и у философа, что, несомненно, запечатлелось в гоголевском „подполье” и не могло не найти отражения в его экзистенциально (а не социально, как это чаще всего представляется) направленном творчестве. Внешняя неприязнь к Чаадаеву, возможно, скрывала „пламя без костра”, которое, при существующей общественной норме, только и могло проявиться в подтексте гоголевского творчества, обрстая, как это и бывает у творческих личностей, чувствами и переживаниями духовного порядка, далеко выходя за рамки плоско-эротического смысла.

Общий выход за норму мог породить и оппозицию „Я – *другой* Чаадаев”, утверждавшую не отличие, а именно сходство душ, родственную экзистенциальную позицию. (см. на стр. 9 данной статьи – Кифа Мокиевич и Мокий Кифович). Обоснование этих гипотез выходит за пределы данной статьи.

⁵ См. В. Белоусова, „*Он в Риме был бы Брут...*”. *Studia Rossica Posnaniensia*, vol. XXXI, 2003, с. 19–23.

⁶ Н. В. Гоголь, *Духовная проза*, Москва 1992, с. 129.

письмах к друзьям: „Сочинение это должно было обнять всю Россию со всех точек – с гражданской, политической, религиозной, философической ...”⁷. Биографически окрашено и лирическое отступление, размышляющее о рыданиях Тентетникова, которое с удивительной прозрачностью сопрягается с гоголевскими раздумьями о своей личной судьбе периода создания произведения.

Ещё одним прототипом стал ржевский священник Матвей Константиновский, потребовавший от писателя изъять из поэмы страницы, связанные с его образом. Среди таких прототипов, несомненно, был и Чаадаев, намёки на биографические данные которого рассыпаны в произведении по закону сна, в котором происходит новое, часто алогичное, смешение первичных реальных компонентов. Определённым обоснованием этой гипотезы может служить само имя Пётр: у Гоголя, этого великого имятворца, так любящего обыгрывать имена, оно встречается девятнадцать раз в различных вариациях. Впервые читатель сталкивается с ним при разговоре Чичикова с Коробочкой, причём, это не имя реального человека, а абстрактное обыгрывание во внутренней авторской речи некоего типа (Ивана Петровича), склонного к превращениям, метаморфозам, „какого и Овидий не выдумает”⁸. Обыгрывание имени Ивана Петровича через понятия „превращения”, „метаморфозы” – авторская подсказка читателю, направляющая его восприятие по пути метаморфозы текста. Сама Коробочка – Настасья Петровна. Только в восьмой главе упоминается Пётр Петрович Самойлов, Пётр Васильевич, Пётр Варсонофьевич. Учитель Тентетникова – Александр Петрович, Петухов – Пётр Петрович, Хлобуев – также Пётр Петрович, слуга – Петрушка. Уже тавтология собственного имени – Пётр Петрович, которое встречается на страницах поэмы три раза, указывает на некоторую театрализацию текста, акцентирует тайную смысловую значимость этого имени. Давая широкую панораму русской жизни Гоголь как бы составляет калейдоскоп намёков, отсылающих к философу. Так, Хлобуев Пётр Петрович не только разорившийся помещик, как и Чаадаев, но и вне всякой логики характера готов уйти в монастырь, что уже явно отсылает к Чаадаеву, который в последний период жизни часто говорил об этом желании.

На балу, так богатом Петрами, присутствует француз Куку – обыгрывание и снижение типично английской фамилии Кук как через сопряжение с её носителем – французом, так и через оноματοпоэтический элемент. В ней можно увидеть ироническую отсылку к английскому миссионеру Куку, восторженное отношение Чаадаева к религиозно-нравственным проповедям которого было широко известно.

Без труда привязывается к биографии Чаадаева и авторский монолог, сопутствующий раздумьям Платонова о Хлобуеве: „Он ещё не знал того, что на Руси, на Москве и других городах водятся такие мудрецы, которых жизнь – необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких

⁷ Н. В. Гоголь, *Сочинения в 8-ми томах*, Москва 1984, т. 6, с. 9.

⁸ Там же, т. 5, с. 48.

средств, и обед, который задается, кажется, последний ... Проходит после этого десять лет – мудрец ... ещё больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед ...”⁹, т.е. мотовство, вечные долги, которых он не отдавал, постоянные обеды, на которые философ чуть ли не насильно собирал людей, – всё это было достоянием общественности и нашло отражение в воспоминаниях его поверенного племянника Михаила Жихарева¹⁰.

знаком образа Чаадаева мне представляется и Пётр, открывающий список душ Коробочки: „...Особенно поразил его какой-то Пётр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать «Экой длинный»”¹¹. Во-первых, на это указывает имя, во-вторых, образное воссоздание через одну черту портрета-контура Чаадаева (высокий рост и худощавость Чаадаева общеизвестны), в чём проявилось писательское умение „... не то что передразнить, но угадать человека”. Второй раз писатель акцентирует и прозвище, и рост: „... И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Пётр Савельев Неуважай-Корыто ... Он опять же не утерпел, чтобы не сказать: ...Эх, какой длинный, во всю строку разехался!”¹².

Мысль „спотыкается” о слово **известный** – он один из списка, оживающих под взором Чичикова названных имён, оказывается известным. Но чем? Ведь читателю уже знакомы и остальные души, купленные Чичиковым, имена которых тоже повторяются в тексте. Ни одной характеристики, кроме повторного очертания портрета-контура героя и вопроса, кто он был, Пётр Савельев, в отличие от всех других „мёртвых душ”, не содержит. Зато его прозвище прочитывается легко: тот, кто не читает своё, родное. К тому же слово **известный** таит в себе что-то интригующее, оно двусмысленно. Это и знакомый, что по тексту вполне может относиться к образу, и чем-то славящийся. Второй смысл этого слова наталкивает на потаённую иронически-полемическую сущность прозвища некоего двойника, лишь ассоциативно заданного текстом. Именно с Чаадаевым, в первую очередь, могло соотноситься и это ироническое прозвище, и известность: если читать чаадаевские *Философические письма* без *Апологии сумасшедшего*, не трудно было увидеть нападки не только на русские порядки, но и на саму Русь, её национальную субстанцию. Не удивительно, что его близкий друг Пётр Вяземский, несомненно, один из самых образованных людей своего времени, замечает, что как сатира – они прекрасны, как философский трактат – парадоксальны. Он даже называет его произведения верхом безумия¹³. Неотправленная отповедь Пушкина, где он замечает, что принимает своё Отечество и русскую историю такой, какая она есть, была самым доброжелательным откликом. Его *Письма* опровергали почти все современники – и противники, и друзья. Так, очевидно, его *Письма* воспринимает

⁹ Там же, т. 6, с. 86.

¹⁰ см. М. Жихарев, *Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве*, в: *Русское общество 30-х годов*, Москва 1989, с. 103.

¹¹ Там же, т. 5, с. 55.

¹² Там же, т. 5, с. 135.

¹³ В. А. Мильчина, А. А. Осповат, *О Чаадаеве и его философии истории*. в: П. Я. Чаадаев, *Сочинения*, Москва 1989, с. 9.

и Гоголь, критикующий, но и поэтизирующий русскую стихию, явно противопоставленную „поголовному” рабству Чаадаева. Образ „глашатая свободы”, и революционера-мученика философ получает благодаря Герцену, хотя Николай Надеждин, редактор „Телескопа”, где были помещены *Письма*, и цензор Алексей Болдырев пострадали гораздо больше. Думается, этих оснований Гоголю было вполне достаточно, чтобы питать к нему определённую неприязнь культурного, духовного плана. Она и наша своё отражение в фамилии Пётр Неуважай-Корыто-Савельев, которая, в моём представлении, зашифровано обыграла ситуацию всех участников публикации *Первого философического письма*: „Не всякому Савелью весёлое похмелье; ваши пьют, а у наших с похмелья головы болят”, – говорит русская поговорка, что означает: кому праздник, кому весело, а у кого и невесёлое похмелье – тягостное состояние духа. В этом смысле поговорки без труда прочитывается подтекст, отсылающий к судьбе цензора и редактора журнала: первый получает отставку и лишается пенсионера, второй – высылается в северную глухую Вологодскую область. Сам же Чаадаев, действительно, получает „весёлое похмелье”, ибо в объявлении себя сумасшедшим „... даже нашёл в нём удовлетворение своему тщеславию и своей гордости”¹⁴.

Иронический намёк на образ Чаадаева связывается, в моём представлении, и с образом Кошкарёва: во-первых, его считают сумасшедшим, точнее, называют так, во-вторых, это единственный образ у Гоголя с западноевропейской ориентацией, в-третьих, само описание библиотеки Кошкарёва, где Чичиков находит большое количество философских книг с явно трагическим названием: *Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности*. „Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице: проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость и чёрт знает чего там не было”¹⁵. Здесь в иронической, полупародийной форме отрабатывает Гоголь и важную для него мысль о невеселии рационального знания и зашифровывает образ Чаадаева как названием „философия, в смысле науки”, так и обращением к книге с „... нескромными мифологическими картинами”¹⁶ – последний сам считает себя первым создателем научной философии в России и смотрит на античное искусство как на соблазн духовному.

Ассоциация с Чаадаевым может быть связана и с фамилией Кошкарёв. Это аллюзия, отсылающая к одному из самых загадочных, до сегодняшнего дня не раскрытых обстоятельств его биографии – прошении об отставке (*Чин следовал ему: Он службу вдруг оставил* – обыгрывает Грибоедов этот биографический факт философа). Речь идёт о бунте Семеновского полка и чаадаевской роли посланника императору, с целью изъяснения случившегося. После разговора с Александром I, содержание которого осталось загадкой, Чаадаев неожиданно

¹⁴ М. Жихарев, *Докладная записка...*, с. 103.

¹⁵ Н. В. Гоголь, *указанное сочинение*, т. 6, с. 63–64.

¹⁶ Там же, с. 64.

для всех подает в отставку (хотя перед этим именно его рекомендуют флигель-адъютантом самому царю) и получает её без обычного для отставки повышения чина. Сам факт бунта, трагическая участь его солдат и офицеров, роль Чаадаева, который попал в *двойственную ситуацию*, и многие офицеры полка назвали его Брутом-изменником (что отозвалось в имясочетании Хома Брут),¹⁷ на многие месяцы стали предметом самых острых обсуждений в Москве и Петербурге. Начальником первой роты первого батальона полка, которому солдаты доложили просьбу прислать им нового командира, был Николай Кашкарев¹⁸. Фонетическая ассоциативность имён, описание деятельности Кошкарева, пародирующая идеал Западной Европы, созданный в *Письмах* Чаадаевым, сам чин полковника, который философ должен был получить при отставке, огромная, тематически разнообразная библиотека, указание на его сумасшествие – всё метонимически отсылает к образу Чаадаева. Ещё одним фактом-подсказкой автора можно считать и указание на заграничный поход в Германию, где Кошкарев стоял с полком: Чаадаев с 1812 по 1814 год совершает три похода, войдя в марте 1814 года в составе Ахтырского гусарского полка в Париж. Естественно, участников походов во время войны России с Наполеоном было множество. Однако образ Кошкарева соединил в себе указание на большое количество черт Чаадаева. Гоголь как бы „подкрепляет” эти указания, ещё раз направляет читательское внимание в сторону прообраза, через стилистическую аналогию, которая создаёт иронический вариант идеям философа. В сочинении Чаадаева встречается понятие: „*бесполезная роскошь*”: „... из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и *бесполезную роскошь*”¹⁹. Гоголевский Кошкарев жалуется Чичикову на то, что мужику трудно объяснить: „... что есть высшие побуждения, которые доставляет человеку *просвещённая роскошь*”²⁰. Именно „*бесполезную роскошь*” пытается ввести Кошкарев среди своих крепостных: баб – надеть корсет, мужиков – немецкие штаны, видя в этом „*просвещённую роскошь*”.

Эти реминисценции также указывают на пародирование, окарикатуривание идей Чаадаева. Гоголь как бы помещает этот пытливый ум, говоря словами самого Чаадаева, в „*тот узкий и мелочный круг, в котором вращается людская пошлость*”²¹, что в гоголевской интерпретации означает дать образ „*в разжалованном виде из генералов в солдаты*”²². В вышеприведенной цитате Чаадаева останавливает внимание мысль о людской пошлости, но ведь именно людская пошлость стала лейтмотивом *Мёртвых души*, образно воссоздав эмпирическое, противопоставленное экзистенциальному, существование своих приятелей и своего Я, на что указывает сам автор, обращаясь к анонимному

¹⁷ См. В. Белоусова, *Он в Риме был бы Брут...*, Studia Rossica Posnaniensia, vol. XXXI, Poznań 2003, с. 19–23.

¹⁸ Б. Тарасов, *Чаадаев*, Москва 1990, с. 62.

¹⁹ П. Чаадаев, *Сочинения*, Москва 1989, с. 25.

²⁰ Н. В. Гоголь, *Указанное сочинение*, т. 6, с. 61.

²¹ П. Чаадаев, *Сочинения*, Москва 1989, с. 49.

²² Н. В. Гоголь, *Духовная проза*, Москва 1992, с. 129.

автору в третьем письме по поводу *Мёртвых душ*: „Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые *считают себя лучшими других*, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты”²³.

В одном из вариантов главы, где идёт речь о Кошкареве, обращает внимание одна чрезвычайно интересная для семантического анализа текста деталь: Павел Чичиков застаёт Кошкарева „за пульпитром стоячей конторы с пером в зубах”²⁴. Это обычная поза самого Гоголя, т.е. это метонимическое указание на собственный образ, который в контексте данной главы может быть прочитан как образ оппонента, наличие которого создаёт напряжённо-познавательное отношение Я – Ты, в котором присутствие сниженного, окарикатуренного образа философа и его идей является и средством уравнивания двух избранных натур, и средством самопознания, на что и указывает Гоголь во всех своих статьях по поводу *Мёртвых душ*. В аспекте такого взгляда, расшифровывающего один из многозначных подводных смыслов поэмы, конкретное наполнение, в моём видении, получают и свойственные писателю проходные, как бы случайные, образы-фикции двух обитателей, которые „... нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией ...”²⁵. Прикреплённые по тексту поэмы к гротескным образам Кифы Мокиевича и Мокий Кифовича, они указывают на двойничество, свойственное гоголевской поэтике, могут быть прочитаны как карикатура на тот идеал писателя и философа, который нёс в себе каждый из них.

Итак, Гоголь не „ускользнул” от влияния Чаадаева на своё творчество. Но это влияние вылилось в создание „подводного” иронически обыгранного образа философа, в скрытый диалог с ним.

Summary

The allusion to Piotr Czaadajew is used as an interpretation of the artistic sense of the novel called *Martwe dusze*. A similar hermeneutic analysis in Gogol’s text enables one to reveal the hidden sense layers that are conversational in character.

²³ Там же, с. 19.

²⁴ Н. В. Гоголь, *Указанное сочинение*, т. 6, с. 61

²⁵ Н. В. Гоголь, *Указанное сочинение*, т. 5, с. 246.